

ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ
КАКОЙ ПОМНЮ

Д.Е. Максимов
/Ленинград/

I

В первый раз я увидел Ахматову в 1923 или в 1924 году на вечере поэтов, устроенном Союзом писателей. Это было на Фонтанке, недалеко от Невского, в тогдашней резиденции Союза. Ахматова стояла в фойе и оживленно разговаривала с двумя или тремя неизвестными мне дамами. Она была в белом свитере, который туго охватывал ее фигуру, выглядела молодой, стройной, легкой. Разговор также казался легким и непринужденным, с улыбками. От Ахматовой веяло свободой, простотой, грацией.

На эстраду она взошла такой же и вместе с тем другой, в новом облике. Она прочла всего два коротких и острых стихотворения. Было похоже на то, что она не хочет дружить с аудиторией и замыкается в себя. Прочитав стихи, не сделав даже краткой паузы, не ожидая аплодисментов и не взглянув на сидящих в зале, она резко и круто повернулась - и мы перестали ее видеть. И в этом жесте было уже не только изящество, но сила, смелость и вызов.

Живой и четкий образ Ахматовой с того вечера крепко запомнился и соединился с давно уже сложившимся образом ее поэзии.

Я был тогда студентом-первокурсником. В жизни моей и моих сверстников, товарищей по университету этих и последующих лет стихи занимали огромное место, затопляли наши досуги, мешали ученью. Они, между прочим, почти заменили нам ушедшую из культурного обихода 20-х годов философию. Мы читали их днем и ночью, в одиночку и друг другу, списывали их в тетради и писали сами. Эпоха расцветала невиданной поэзии.

ей, связанной с поэзией предшествующей и противопоставленной ей. Блок, Мандельштам, Пастернак, конечно, Маяковский, подальше - Хлебников, позже - Заболоцкий притягивали с особенной силой. Любопытствовали к Вагинову, интересовались символистами, Гумилевым, Анненским, Клюевым и, наряду с ними - Тихоновым, Асеевым, Сельвинским. Широкие волны есенинского влияния проникали и в наш круг, но не имели в нем определяющего значения. Цветаеву почти не знали. Но тех, кого знали, действительно любили, иногда - до страсти, а в спорах о них - до ссор.

Но уже тогда, т.е. к середине 20-х годов, в умах стихофильствующей студенческой молодежи, обычно начинавшей с повторения последних этапов дореволюционной поэзии, отношение к этим - частью уже удаленным во времени - поэтам перестраивалось и мера притяжения к каждому из них менялась. Я говорю не об исторической оценке таланта перечисленных поэтов, не о признании их историко-литературной значимости - их ценили и уважали. И не о массовых газетно-журнальных репутациях. Я говорю о личном, индивидуальном, интимном отношении к ним тех, кто действительно питался и жил поэзией. И здесь, в сфере пристрастий чутких и открытых поэзии читателей, смена поэтических притяжений, возвышение или крушение поэтических влияний, подъемы и затемнения любимых когда-то имен представляли собой обычные явления. В этом действии исторического времени, как и всегда заключались и радость открытий и нечто жесткое, вызывающее грусть, но неотвратимое.

Прежними "властителями дум", скорее "властителями вкусов" были: Блок, Белый, Сологуб, Гумилев, Брюсов, Ахматова. Из них на наших глазах под действием времени больше всех пострадал Брюсов, едва ли не больше Сологуба. К Брюсову сохранился историко-литературный интерес, но в нашем кругу его читали "для себя" - лишь редкие любители стихов. Мenee, чем на других действие времени сказалось на Блоке. Он был любим, горячо любим многими, особенно старшим поколением. Он оставался для читателей, выросших в сфере его влияния, не только

пленительным и пленяющим поэтом, но отчасти и в самом деле "властителем дум". Однако на студенческих вечеринках и сборищах в Ленинграде его уже не часто читали, а подражавшие ему молодые поэты могли показаться чуть ли не архаистами.

Для меня лично и для моих сверстников, близких по духу, Блок присутствовал и тогда и позже, и до сих пор где-то в самых глубинных пластах души, определяя возможные для времени масштабы поэзии. Образ его как совесть, освещал окрестности жизни, участвуя в каких-то важных жизненных решениях. Блок, стоя высоко над повседневным обиходом, был на страже духа и культуры. Чувство личности, ее достоинства, право на свободу сочетались у него, в отличие от многих других поэтов, малых и больших, с редкостным умением подыматься над собой, "выходить из себя", с острым переживанием истории и своего долга перед людьми. И это было связано с самыми высокими, учительскими заветами русской классической литературы.

До такой широты многие из нас не могли дойти и уходило то в одну, то в другую из односторонних поэтических правд. Но в их позиции и в их исканиях было и другое. Блоковский романтический максимализм не соответствовал возможностям жизни и, сталкиваясь с нею, приводил к трагическому конфликту, а мы, были молоды и не хотели трагедии. Но и это не все. Там, где глубина сознания требует современных, прежде всего предметных форм выражения, плотного словесного вещества, я и некоторые из моих сверстников чувствовали себя уже вне блоковских измерений, оторванными в чем-то важном от этого дорогого нам, сформировавшего многих из нас поэта. Особенно это относилось к тем из наших товарищей, кто писал стихи, то есть переживал этот сдвиг без всяких дистанционных смягчений. Мы, пишущие, также и непишущие, чувствовали, что "блоковская фактура" в наше время и для нас слишком красива, порою декоративна /"Ты в синий плащ..." и т.д./, недостаточно сурова, как-то незащитна в своей исповедальной обнаженности, уводящей, в пределе, к расслабляющей "лирике души" /жесткими словами это называли "поэзией романса"/. Помню, как Николай Семенович Тихонов, мой кратковременный литературный советчик,

Однажды, полусутя, приглашал меня, студента-второкурсника, к себе домой на Зверинскую улицу поговорить "как бороться с Блоком".

Мы продолжали нуждаться в Блоке, видеть в нем великого поэта. Он был нужен нам, быть может, и для каких-то последних разговоров с совестью и для понимания подступов к сегодняшнему "эстетическому сознанию". Но теперь перед нами возникали и притягивали к себе, а для кого-то и заслоняли Блока, не вполне привычные еще имена Мандельштама и Пастернака, поэтов трудных, создавших новые типы миропереживания в слове, непосредственно приближенных к нам и вместе с тем /парадокс! / влекущих к себе своей полупостижимостью, таящейся в них заманчивой неизвестностью.

Хочется сказать кстати, что и теперь через 50-60 лет вся эта ситуация, круто изменившаяся в новую эпоху, в какой-то мере повторяется в соответствии с новыми витками спирали, которая раскручивается во времени. Среди многих оппозиций, характеризующих наше отношение к поэзии на сегодняшний день, существует и эта, хотя и лишившаяся прежней напряженности, вырастающая из живого прошлого, скорее духовная, чем эстетическая: противопоставление подновленного в поворотах, зигзагах и откровениях времени Блока - с одной стороны, и Мандельштама, Пастернака, Цветаевой - с другой. Две стадии развития поэзии в ее высочайших вершинах, с явным преобладанием в настоящий момент, - конечно, без ориентации на количественные показатели, - второго поколения поэтов. /Могучая, изначально трагическая поэзия Маяковского находилась и находится вне этой оппозиции, и судьба ее в наше время - совсем особая/.

Может быть, Блоку суждено в восприятии будущих поколений движение приблизительно по такой же линии /скажем, параболы/, которая в свое время определила путь развития романтизма начала XIX века, после того, как он сдал свои боевые, наступательные позиции. Как известно, традиция европейских романтиков в литературе и в философии еще в первой половине прошлого столетия в значительной мере ушла "под воду", "в

почву", в боковые литературные русла и поднялась на поверхность и дала о себе знать с полной силой лишь в эпоху символизма, принявшего на себя их дело. Творчество Блока не уходило "под воду". Блок широко и громко признан не только юбилейным признанием. Но контакт с ним современного эстетического сознания ограничен. Многие в Блоке для многих из нас невоспринимаемо, а сам Блок, "нынешний Блок" - скорее лишь предопределенное временем извлечение из Блока, каким он был в его исторической реальности. Для второго рождения Блока, для восстановления его поэзии в ее органической подлинности, в "натуральную величину" /поскольку это вообще возможно/, вероятно не требуется прихода какого-нибудь гипотетического "неосимволизма", но оно мыслимо и без такого рода "возвратов" и "повторений" - в новую эпоху и в новых условиях. Не о том ли думал и сам Блок, выражая, с осторожностью, надежду на то, что его "Двенадцать" прочтут /подразумевается: поэма наполнится жизнью/ когда-нибудь в не наши времена" /"Записка о "Двенадцати"/.

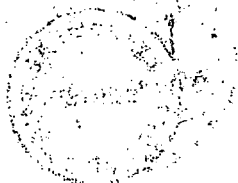
Среди читаемых и чтимых поэтов 20-х и начала 30-х годов, конечно, большое место в наших студенческих душах занимала и Анна Ахматова. В тех кругах молодежи, к которым я принадлежал, не только знали ее книги, но и чувствовали сердцем и кожей артистическую остроту, точность и художественную неопровержимость ее совершенных, кристаллических, как будто своенравных, порою капризных, покоряющих строчек. Они казались врезанными в память. Никого из других поэтов не напоминали и никого из них не повторяли. Тогда нам были еще неизвестны ее трагические, суровые, граждански направленные стихи поздних лет - этих стихов еще не было. Мы не предчувствовали, что Ахматова, сохранив и преобразовав свои прежние темы, станет в свой час замечательным гражданским поэтом, умеющим с необычайной силой выражения приобщаться к исторической судьбе своей родины. Но и то, что было ею тогда уже создано, врезалось в сердце и оставалось в нем надолго - стихи о

трудной, напряженной, извилистой любви, о своем поэтическом даре, о Петербурге, городе "славы и беды", о войне 1914-1917 годов, о незабвенном для нее и для русской поэзии "приюте муз" Царском Селе, где протекали ее детство и юность, - стихи, наполненные "терпкой печалью", горестные, почти всегда - тревожные, изредка - уютные, проникнутые болями и радостями сложной, много испытавшей женской души.

И все же Ахматова не стала для нас тогда точкой исключительного притяжения, "магнитным полем", равным по силе воздействия Манделштаму и Пастернаку, а для пишущих, если они не были девушками-ахматовистками - возбудителем творческих импульсов. Одна из причин этого явления бесспорно заключалась в том, что Ахматова писала в то время мало и почти не печаталась. Но главное основание известной сдержанности в нашем отношении к ней следует искать в самом содержании ее творчества, в объеме и характере явленного в ее стихах мира, в ее сравнительной отдаленности от того, что притягивало нас в "общей жизни", в жгуче переживаемом нами моменте истории.

И, кроме того, сыграла роль целомудренная осторожность, даже приглушенность ее исканий - духовных, существенных для одних, для меньшинства, и эстетических, важных для других, - для тех, кто в 20-х и в начале 30-х годов рвались к демонстративной новизне и остроте. Эти энтузиасты художественной остроты, конечно, находили ее не у Ахматовой, а у иных поэтических вождей или у поэтов-островитян авангардистского толка, любимцев малых аудиторий, таких как Обэриуты, молодой Заболоцкий, каким он тогда являлся, или Вагинов. Не случайно Лилия Брик рассказывала в печати, что Маяковский любил стихи Ахматовой и в то же время, в кругу друзей, пародировал ее. Это было гиперболическим выражением и нашего отношения к ее поэзии, хотя мы, по-видимому, любили ее больше, чем Маяковский и, разумеется, обходились без пародий.

Разъясняю: говоря "мы", я остаюсь, как и до сих пор, субъективным и не претендую на то, чтобы выразить мнение всех читателей Ахматовой в средний период ее жизни, а выра-



жаю лишь то, как смотрел на нее я сам и некоторая часть близких мне молодых читателей, может быть не очень малочисленная. И еще оговорка: такой представлялась нам Ахматова в 20-е и отчасти в 30-е годы. Но пришло новое время, изменилось и ее творчество, и читатели, и их запросы, и их отношение к ней. Многие из этих изменений объединяются характерным для наших дней процессом "наведения мостов", направленном к сближению, в известных пределах, оторвавшихся друг от друга, хронологически смежных поэтических эпох, к установлению относительной непрерывности культур, связи времен. Но нечто очень важное в этом восстановлении поэзии Ахматовой нужно отнести и к факту ее кончины, освещающей новым светом, как всегда в таких случаях, образ ушедшего:

Когда человек умирает, ¹
Изменяются его портреты

- писала Анна Ахматова в 1940 году.

Интерес к поэзии Ахматовой резко повысился. Читатели повернулись к ней с признанием и любовью: одни - с любовью-уважением, другие - с любовью-страстью. И эта любовь распространилась не только на ее настоящее, но и на ее прошлое. Все отчетливее формируется мысль о том, что Ахматова - один из великих поэтов России.

Подводя итоги своей жизни, Ахматова имела право написать о себе:

Забудут? - вот чем удивили!
Меня забывали сто раз,
Сто раз я лежала в могиле,
Где, может быть, я и сейчас.

А Муза и глохла и слепла,
В земле истлевала зерном,
Чтоб после, как Феникс из пепла,
В эфире восстать голубом. /1957, с. 298/

Как следствие этой новой ситуации, умножилась литература, связанная с именем Ахматовой. Выходят сборники ее стихов и прозы, пишутся диссертации о ней, книги, статьи, мему-



ары. К голосам младших современников Ахматовой, вспоминающих о ней, и я хотел бы присоединить свой голос.

2

Мне посчастливилось много и долгое время встречаться с Анной Андреевной Ахматовой, знать ее - не очень близко, но достаточно хорошо, в той мере, которая дает мне право о ней рассказывать.

Одной из предпосылок нашего общения явились общие воспоминания о Царском Селе. Эта тема нередко всплывала в наших беседах и подспудно связывала нас, пожалуй, не меньше, чем все остальное. В Царском я родился и провел свое детство, а она - и детство, и юность, и часть своих зрелых годов. В этом отношении мы были земляками-соотечественниками. В Царском Селе, по малости лет, я не знал даже о ее существовании, но мои старшие братья были знакомы с нею и с ее первым мужем - Гумилевым. Были и другие общие знакомые по Царскому.

Но уже взрослым я долго не пользовался возможностью встретиться с Анной Андреевной. Я не был настолько тщеславен и настолько любопытен, чтобы активно стремиться к знакомству со "знаменитыми современниками", форсировать его. Поэтому, живя с Ахматовой в одном городе, теперь уже не в Царском, а в Ленинграде, я познакомился с нею впервые лишь в 1936 году /22 января/. И встретился с нею не "просто так", а по делу. Я пришел к ней в "Фонтанный дом" /на Фонтанку/ с определенными вопросами, связанными с моими занятиями литературой ее времени.

Уже при первом моем посещении Анны Андреевны, с первых же слов было подтверждено наше "родство" с нею по Царскому Селу, которое мы оба считали своим отечеством. В нашем разговоре сразу замелькали милые нам имена старых царскосельских улиц. Мы почему-то вспомнили о царскосельских аптеках Каска и Дерингера и об источнике самых сладких /в буквальном смысле/ воспоминаний - о находящейся в угловом доме на

Леонтьевской улице кондитерской Голлербаха, из семьи которого кстати сказать, вышел известный искусствовед Э.Ф. Голлербах. Я признался Анне Андреевне, что Царское Село мне часто снится - Новая улица, где я родился.

- И я часто вижу во сне Царское - ответила Ахматова. - Но не дом, где я жила у свекрови /Гумилевой - Д.М./, а Безымянный переулок у вокзала, с лопухами и крапивой - там прошло мое детство.

Тогда же я услышал от нее:

- А я помню, когда в Царском сказали: "А у Максимовых родился сын". Это были вы.

Памятью о моей связи с Царским Селом объясняется и ее надпись на одном из поздних изданий "Четок": "Дмитрию Евгеньевичу Максиму последнему Царскоселу стихи из его города смиренно Ахматова. 23 апр. 1961". Хотя звание, присвоенное мне Анной Андреевной /"последнему царскоселу"/ бесспорно было завышено и слово "смиренно" нужно отнести за счет игры и лукавства, но все же эту надпись мне не хотелось бы признать насквозь ироничной, - стародавних ископаемых царскоселов осталось на свете в самом деле очень мало.

Моей первой встрече с Анной Ахматовой в "Фонтанном доме" суждено было стать началом нашего многолетнего общения, длившегося - с большими перерывами - до самой ее кончины. Я посещал ее не только на Фонтанке, но и на улице Красной Конницы, куда она переехала, и в ее дачеобразной хибарке в Комарове /в "будке", как она ее называла/, и в "Доме творчества писателей" в том же Комарове, и в больнице на Васильевском острове, где она лежала и, конечно, в писательском доме на улице Ленина, в котором и я жил много лет, в сущности, под одной крышей с нею. Она, в свою очередь, легко и охотно откликалась на приглашения и несколько раз побывала в нашем жилище.

Нужно ли мне рассказывать об этих встречах с Ахматовой подробно, о ее суждениях, словах и словечках? Кажется, не

нужно. Прежде всего я не мог бы этого сделать, если бы даже хотел. Я записывал то, что говорила Анна Андреевна, сравнительно редко, от случая к случаю. Кроме того, как известно, существуют исключительно подробные, почти протокольные воспоминания о ней, с которыми мне состязаться нет возможности. Мне легче сейчас вспомнить об Ахматовой, как о человеке и поэте, в целом, чем приводить отдельные ее высказывания и реплики. И так ли уж поможет нам понять Ахматову в основном присоединение ко многому уже известному нам ее новых высказываний? Умножение количеств - не всегда лучший принцип. Каждый человек и тем более такой большой, сложный и глубокий как Анна Ахматова - загадка и разгадывание ее - всегда относительно по результатам - иногда может облегчить не столько количественное накопление высказываний этого человека, а какая-нибудь случайная, проникающая, уводящая вглубь интонация, деталь или наша объединяющая все впечатления интуиция.

Первые же встречи открыли мне Анну Андреевну именно такой, какой я ожидал ее увидеть, совсем в другом облике, чем тогда, на эстраде в 20-х годах. Теперь это была величавая женщина, уже не молодая, с лицом благородным и, как прежде, ни на кого не похожим. Возраст, полнота, некоторая грузность, болезненность не лишали ее грации и не стирали следов бывшей, очень своеобразной, замысловатой и хорошо знакомой по портретам и фотографиям красоты. Своими движениями, речью, глазами она управляла с неизменным самообладанием, уверенно и спокойно. Она держалась внимательно к собеседнику, была тактичной, в меру обходительной и в меру приветливой.

Фон, на котором выступает образ Ахматовой - строжайший минимум бытового реквизита. Не просто безытность, а величественное, хотя и совсем не подчеркнутое, не "поданное", но осуществленное на деле презрение к быту. Скучный, пунктирный интерьер Анны Андреевны, если позволено употребить здесь это слово, не имел ничего общего с палацками писателей-натурщиков, владельцев двухэтажных дач, автомобилей и гарнитуров красного

дерева. Бывая у Ахматовой везде, где она жила за последние 30 лет в Ленинграде - я всегда сталкивался с редчайшей, "студенческой" скромностью или, называя вещи своими именами, - бедностью. Маленький, еле существующий письменный столик, кровать, шкаф /?/, книжная полочка /?/, "укладка" или чемодан для рукописей, кресло, стул или стулья - все это с некоторыми вариантами можно было встретить во всех жилищах Анны Андреевны. И с этим связывалось впечатление неухоженности, жизненно-го неустройства, наводящее на вопрос, не то реальный, не то риторический: обедала ли Анна Андреевна сегодня или ограничилась чаем с яичницей? Так думалось об Ахматовой даже в самые последние годы ее жизни, когда она стала получать приличные гонорары и, казалось, могла обновить свою обстановку и изменить образ своей жизни.

Но с такими мыслями и в этой обстановке мы, посетители Анны Андреевны, становились свидетелями поразительного явления, которое ошеломляло бы нас каждый раз, если бы мы не ожидали увидеть его и, видя, к нему не привыкли. В комнатной беспредметности и щемящей неприютности перед нами возникала, встречая и провожая нас до передней, повелительница мощной державы - поэтической или иной - не в этом суть.

Да, где бы Ахматова ни находилась, дома, на прогулке, на эстраде, в гостях, ее сопровождал ореол значимости и значительности. Я видел ее оживленно разговаривающей, больной, даже плачущей, но всегда она оставалась человеком необычайно сильным /"всех сильней на свете", с. 261/. С болью, порожденной не только жизнью, но и самым устройством ее души, ее "изначальным замыслом", она мужественно несла посланный ей судьбой "дополнительный" тяжелейший груз бед, который для других был бы непосильным. Стойко, с великой, блистательной гордыней она шла сквозь строй страданий, ударов судьбы, лишений /даже материальных/, которые с такой беспощадной щедростью обрушивала на нее жизнь. Не будучи аристократкой по рождению, она была аристократически простой, естественной в обращении, слегка торжественной, но без чопорности и надмен-

ности. Это был аристократизм человеческого достоинства, ума и таланта.

Не забуду, когда, сидя у нас дома на диване, Анна Андреевна величественно слушала граммофонную запись своего голоса /первую или одну из первых/. Голос читал размеренно, на очень ровной интонации, без резких звуковых сдвигов и модуляций. Голос был низкий, густой и торжественный, как будто эти стихи произносил Данте, на которого Ахматова, как известно, была похожа своим профилем, и с поэзией которого была связана глубокой внутренней связью. Мгновенные спуски в этом чтении /оттенок усталости/ не нарушали общего впечатления от него. Ахматова сидела прямо, неподвижно, как изваяние, и слушала музыкальный гул своих стихов с выражением спокойным и царственно снисходительным.

- Ну как, Анна Андреевна, нравится вам это чтение?

- Ничего.

Эту монументальную, мистернальную, и единственную в своем роде сцену - Ахматова наедине с эхом своего голоса - я прочно запомнил. Звуковой двойник поэзии Ахматовой, ее поздней сумрачной лирики, и ее пластический человеческий образ соединились в этом таинственном, неповторимом, величественном диалоге ее с собой: звучащего голоса и поэта, который отвечает ему своим говорящим молчанием.

Вообще Анна Андреевна отнюдь не казалась молчаливицей, хотя была склонна скорее к молчанию, чем к разговору. Я не слышал от нее длинных монологов или продолжительных рассказов. Она любила сжимать свои мысли в афоризмы, часто меткие, яркие и остроумные. Отзывалась на шутку и сама хотела и умела шутить. Но иногда среди беседы неожиданно замолкала.

- Да... - говорила она в каком-то слегка печальном, медленном раздумье.

И становилось тихо и грустно. А она казалась не великим поэтом, а простым, старым, усталым человеком.

И думалось о том, как мало мы знаем, что занимает и му-

чит ее в такие минуты молчания и отъединения. О чем ее печаль? О неотвратимо иссякающей жизни, о близости смерти, о своей житейской бездольности, о сложностях своих и чужих, об одиночестве в кругу друзей, о бездомности в своем доме и в гостях? Или о сыне, о котором она не переставала волноваться и мучиться не только в то время, когда он был в беде, но и тогда, когда, живя в одном городе с нею, он был внутренне оторван от нее и разобщен с нею? Может быть обо всем этом вместе².

3

Анна Андреевна была большим эрудитом, человеком на редкость начитанным, знатоком не только Пушкина /предмет ее специальных исследований/, но и Шекспира, Достоевского, новой и новейшей литературы. В наших разговорах о зарубежных писателях чаще других она называла имена внимательно прочитанных и высоко оцененных ею Марселя Пруста, Кафки и Джойса. Ее собеседники, даже хорошо осведомленные, могли узнать от нее много интересного и неожиданного. В этих разговорах с Анной Андреевной особенно поражала ее блистательная, феноменально-точная память, которая распространялась на явления культуры в такой же мере, как и на мелочи жизненных отношений. /Мне приходилось, например, слышать от нее приблизительно такие фразы: "А год назад, летом, вы говорили мне то-то и то-то"/.

Анна Андреевна была органически гуманна, человечна в самом высоком и ответственном смысле слова. Как можно думать, она никогда не соблазнялась распространенным в начале века слишком подвижным отношением к добру и злу и, тем более лозунгами нищенского аморализма. Она тихо и целомудренно, без показных восторгов, фанфар и сентиментальностей любила свою родину, но была совершенно чужда дурному национализму и нетерпимости к другим нациям. Она была религиозна без религиозной ортодоксальности, чувствовала патриархальную "поэзию церкви", минимально соблюдала культовую обрядность, но отнюдь не увлекалась ею. Много думавшая и глубоко переживавшая "личное" и "общее", то, что относилось к исторической и духовной

жизни, она была человеком с позицией, с убеждениями, с принципами. Но все это, как часто бывает у людей "артистического строя", не приобретало у нее характера системообразных построений. В этом отношении она была далека от символистов, которые редко обходились без концепций или систем - собственных или заимствованных у их предшественников и вдохновителей. И однако это отнюдь не лишало мировоззрения Ахматовой направленности и постоянства.

Анна Андреевна была доброй, как об этом сама, просто, без всякой позы, писала в первой из "Северных элегий" /с. 329/. Эта доброта питалась в ней волей ее широкого сердца, в котором Красота в смысле моральной эстетики и Добро /добро как благодать и добро как долг/ сливались в одно.

К людям она относилась благожелательно и старалась выделить и подчеркнуть в них то, что признавала хорошим и ценным. Нередко от нее можно было услышать такие определения: замечательный ученый, знаменитый художник, неслыханный успех, дивные стихи /слово "дивный" она особенно любила/. Подобные этим оценки были рассеяны и в ее лирике /"мой знаменитый современник", "белокурое чудо" и др./. Это изначальное желание Ахматовой видеть в людях прежде всего хорошее, их "актив", если не ошибаюсь, первым в литературе отметил в статье о ней как о поэте ее близкий друг, Николай Владимирович Недоброво /"Русская мысль", 1915, № 7/, в статье, которую она считала едва ли не лучшим из того, что было о ней написано. От Анны Андреевны уходили чаще всего с облегченным сердцем, не смущенными и растерянными, а ободренными. Даже слабых поэтов, которые в большом количестве несли или посылали ей слабые стихи, она предпочитала не огорчать резкими оценками, ограничиваясь нейтральными репликами или несколькими мало выразительными словами о частых удачах. Если же поэт был действительно достоин похвалы, она рада была преувеличить его достоинства.

Так было с хорошими, но отнюдь не блистательными стихами Марии Сергеевны Петровых, которые Ахматова, на мой взгляд, сильно перехваливала. Мало того, это стремление - хорошее в

людях и ценное в поэтах - назвать прекрасным могло превращаться у нее в широкие обобщения. Так например, хотя она и утверждала, вернувшись из Италии в 1964 году, что "поэзия в мире кончилась", но вскоре, не боясь противоречия, говорила мне о пышном расцвете нашей современной поэзии /она имела в виду ближайшим образом нескольких окружавших ее молодых ленинградских поэтов. Она считала даже, что нужно собирать черновики их стихов "для потомства"/.

Ахматова бесспорно владела даром дружбы: когда она хотела встретиться с кем-нибудь, она этого не скрывала. У нее на чисто отсутствовало то ложное самолюбие, которое нередко мешает делать первые шаги, чтобы повидаться со своими друзьями и приятелями. Почувствовав такое желание, она звонила сама, не ожидая инициативы со стороны ее знакомых. Она поддерживала долгие и прочные дружеские связи с близкими ей людьми. И она старалась, как могла, быть им полезной. В первый раз я пришел к ней на Фонтанку накануне или незадолго до того дня, когда она должна была отправиться в далекий и чреватый жизненными осложнениями путь в Воронеж к своему другу, опальному Осипу Мандельштаму. И она действительно ездила к нему. И столько таких жестов дружбы и внимания к людям он нее исходило! Сама бессеребrenица, она была щедрой. В границах своих малых возможностей, совсем не будучи филантропкой, а только по своему душевному устройству, она оказывала помощь, моральную и даже материальную, своим близким, а иногда - почти посторонним! Когда в последние годы ее обстоятельства изменились к лучшему и она наконец перестала нуждаться, с какой легкостью она раздаривала деньги из своих гонораров, книги и вещи! И за всем этим можно было увидеть не только душевную широту, но и сознание добровольно принятого на себя долга, как бы чувство круговой поруки, которое связывает людей и обязывает их помогать друг другу. И она хотела бы, чтобы это чувство разделяли с нею и ее близкие и знакомые.

Вспоминаю один случай. В 60-х годах мы собирали "с миру по нитке" деньги в пользу тяжело больной и совершенно не

обеспеченной вдовы Андрея Белого - Клавдии Николаевны Бугаевой. Ахматова пожертвовала больше других. Когда же, узнав, что один из наших хороших знакомых, человек вполне обеспеченный, отказался участвовать в сборе, она в порыве гнева воскликнула:

- Он для меня больше не существует!

Нужно добавить, что этика Ахматовой не имела ничего общего с прекраснотушим. О тех людях, которые не отвечали ее моральным требованиям, она говорила с уничтожающей резкостью и совершенно бескомпромиссно. Из имен этих осуждаемых ею лиц можно было бы составить "проскрипционный список". Не все в этом списке представляется бесспорным. На его состав в каких-то случаях могли влиять трудно уловимые для посторонних мотивы, в том числе, личные антипатии Анны Андреевны. В какой-то мере этот список уже известен. Так, говоря о поэтах прежних поколений, она высказывала свое отрицательное отношение к Брюсову, человеку и поэту, а Волошина называла "дутой величиной". Однако наибольший гнев она обрушивала на Кузмина: не отказывая ему в таланте, она считала его злым, завистливым и вообще аморальным. Но чаще всего и особенно темпераментно она негодовала на эмигрантских поэтов-мемуаристов, касавшихся в своих писаниях ее личной жизни - Г. Иванова, К. Маковского, И. Одоевцову. В их воспоминаниях она находила измышления и искажения /"вранье" как она говорила/, а их самих как авторов едва ли не отождествляла с их книгами. К редактору журнала "Аполлон" К. Маковскому она предъявляла исключительно тяжелое обвинение, считая, что его неуважительное отношение к стихам Иннокентия Анненского /отказ напечатать их в одном из номеров журнала/, крайне взволновавшее этого глубоко почитаемого ею поэта, послужило одной из причин его смерти.

4

Труднее всего сказать о самом главном в жизни Ахматовой - о том, как рождалась ее поэзия. Ее домашние рассказывали, что, сочиняя стихи, она ходила по своей комнате и, как они

выражались, "гудела". Это значило, что она повторяла и проверяла вслух возникавшие в ней слова и строки /Маяковский называл эту изначальную стадию своего стихосозидания "мычанием" - "Как делать стихи?"/. Она обращалась к бумаге чаще всего лишь тогда, когда в ней складывалось все стихотворение и записывала его на одном из случайных листочков. Самую суть зарождения и протекания творческого процесса и его природу она лучше всего характеризует сама в большом лирическом цикле "Тайны ремесла" /1936-1959/ и примыкающих к нему стихотворениях. Однако откровения этого цикла относятся не столько к ранней, сколько к поздней поэзии Ахматовой, которая от ее ранней лирики сильно отличается. Анализ цикла "Тайны ремесла" и выводы из него - очень серьезная задача, которую не решить в моих кратких заметках. Скажу лишь о том, что видится здесь с первого взгляда.

Ахматова в одном хорошо известном стихотворении этого цикла /"Мне ни к чему одические рати"/ признавалась, что стихи ее растут из самых малых деталей жизни, из ее "сора", возникают как "лопухи и лебеда". Но соседние с этим стихотворения говорят, что творение поэзии осуществляется у нее и другими путями - не "снизу", а "сверху", не из "земли", а из чего-то иного. Это - пути высокого поэтического наития, той таинственно возникающей или "подслушанной" "музыки", о которой писал Блок и, другим языком, но, по-видимому, о том же - Маяковский /"Как делать стихи?"/. В стихотворении "Творчество" /1936/ Ахматова говорит о музыкальной первопричине поэзии, "все победившем" первозвуке, таящемся в душе и в мире, в "тайном круге" "неузнанных и пленных голосов", в "бездне шепотов и звонов". В стихотворении 1959 года /"Последнее стихотворение"/ дается целая классификация найти, порождающих творчество, и о каждом из них говорится как о неведомом, изначально непостижимом, граничащем с полным смысла безмолвием /с. 204-205/.

Весь этот ряд стихов об искусстве - самоподслушиваний и самопризнаний - ведется в "высоком стиле". Этот стилистический строй не характерен для ранней Ахматовой. Он устанавлива-

ется в поэтических мирах сборника "Белая стая" и далее, в ее поздней поэзии.

Читая раннюю Ахматову, мы вбираем в себя горькие и светлые, всегда острые стихи-афоризмы, представляющие предельно сжатые психологические сюжеты, новеллы о любви и о жизни.

Сколько просьб у любимой всегда!
У разлюбленной просьб не бывает... /с. 62/

Я знала, я снюсь тебе,
Оттого не могла заснуть... /с. 116/

Доля матери - светлая пытка,
Я достойна ее не была... /с. 109/

Заблудилась я в длинной весне... /с. 109/.

Или - стихи, открытые во внешний мир... "Царскосельские", насыщенные тихим и задумчивым лиризмом:

С колоколенки соседней
Звуки важные текли... /с. 81, курсив - мой/

И - "петербургские", в которых ситуация может превращаться в символическое признание-изречение о "вечной" связи с нашим городом:

Ведь под аркой на Галерной
Наши тени навсегда... /с. 78/

Поздняя Ахматова во многом - другая. Ее поэзия становится сумрачной, трагичней. Вместе с тем в ней намечается два полюса или две ориентации. Отчетливое стремление к историческому мышлению, к историческим сюжетам и "гражданским темам", а рядом - поворот от прежней "прозрачности", от прежнего единоробства с символистской поэтикой - к творческому сближению с нею в основных ее атрибутах /атмосфера тайны, намеков, недосказанности, призраки, образы двойников, зеркал и т.д./.

При этом обе линии позднего поэтического творчества Ахматовой сливаются в магистральную для нее, синтетической "Поэме без героя". Но во всех сферах своей поэзии - и в своем историческом живописании, и в своих черных, трагических стихотворениях, и в своих лирических медитациях - Ахматова остается поэтом высокого строя и гармонии, которая преодолевает злобную дисгармонию ее поэтических тем. Эта победоносная красота и просветляющая лирическая сила и явились, по-видимому, главным основанием нашего притяжения к стихам Ахматовой завершающего времени ее жизни.

Вот стихотворение "Летний сад":

И лебедь, как прежде, плывет сквозь века,
Любуясь красой своего двойника... /с. 252/

Эту красоту не спугнешь коварными домыслами о "наивности" и "архаичности" - она не боится этих размышлений и торжествует над ними.

Или - глубочайший, безбрежный лирический разлив в стихах, посвященных "Городу Пушкина":

... Щедро взыскана дивной судьбою,
Я в беспамятстве дней забывала течение годов...

/с. 254/

Или - гениальный "приморский сонет" /1958, Комарово/... При первом чтении он может не войти в душу, не задеть нашего восприятия, как это со мною, к сожалению, и случилось. Зато, вживаясь в него, мы чувствуем с какой выстраданной легкостью и потрясающей простотой, с какой примиряющей и светлой скорбью поэт прощается здесь со своей жизнью.

Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни,
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.

И голос вечности зовет
С неодолимостью нездешней,
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц льет.

И кажется такой нетрудной,
Белея в чаше изумрудной,
Дорога не скажу куда...

Там средь стволов еще светлее,
И все похоже на аллею
У царскосельского пруда.

"Приморский сонет", стихотворение ахматовское до последней точки, примыкает к тем совершенным созданиям русской лирики, Пушкина и зрелого Лермонтова, где предельная, ошеломляющая простота сочетается с изумительной точностью фиксаций внутренней жизни и бездонным лиризмом.

Но скорбная просветленность "Приморского сонета" соседствует в поздних стихах Ахматовой с поэзией острого и открытого трагического миропереживания. Упомянув о том, что запомнилось мне и полюбилось, я не буду касаться здесь этой поэтической стихии в творчестве Анны Андреевны. Об этой его стороне мне придется еще кратко сказать в своей записи о "Поэме без героя". Теперь же, чтобы не оставить без внимания эту черную и резкую линию в стихах Ахматовой, я хочу привести одно из давних ее стихотворений - "отрывок", которое напоминает мне отчасти знаменитое четверостишие Микеланджело "... мне лучше камнем быть" и пр. Это стихотворение помечено автором 1916 годом /с авторским вопросительным знаком/ и по всей вероятности отражает отношение Анны Андреевны к первой мировой войне. Здесь - жесткое поэтическое зрение с открытыми глазами.

.....
О Боже, за себя я все могу простить,
Но лучше б ястребом ягненка мне когтить
Или змеей уснувших жалить в поле,
Чем человеком быть и видеть поневоле,

Что люди делают, и сквозь тлетворный срам
Не смей поднять глаза к высоким небесам.

/отточие Ахматовой/

"Отрывок" - ключ ко многому, созданному поэтом в последующие годы. Трагические мотивы и окружающая их атмосфера, родственные тем, которые мы находим в "Отрывке", исключительно важны для понимания глубинного душевного состояния и творчества Ахматовой последних десятилетий.

Однако было бы непростительной ошибкой рассматривать этот трагический строй поздней лирики Ахматовой как свидетельство об ее самоизоляции, об ее отрыве от людей и страны, в которой она жила. Было бы правильной обратное суждение. В поэзии Ахматовой почти отсутствует ведущая к трагическим выводам романтическая борьба одинокой личности с миром или мирозданием. В трагических темах ее лирики последних десятилетий ее беда и скорбь сливается с народной бедой. "Я была тогда с моим народом..." / / - восклицает она в одном из стихотворений тех лет. Она находит эту беду и скорбь в себе и вокруг себя, о чем еще расскажут будущие исследователи ее творчества.

Сейчас же в связи с этим вопросом в широком его понимании, я хочу напомнить лишь об одном редчайшем феномене ее творчества - о ее поэтических откликах на вторую мировую войну. Они хорошо известны и получили заслуженное признание. Но я, не боясь общих мест, хочу сказать, что в этих стихах - один из высочайших духовно-поэтических взлетов лирики Ахматовой за все время ее существования. Без таких стихотворений как "Мужество", "Постучись кулачком - я открою", "Победителям" и примыкающим к ним, поэзия Ахматовой выглядела бы не совсем такой, какой мы ее знаем. Читая некоторые из этих стихотворений, забываешь о наших литературоведческих реалиях - о стиле, лексике, фонике, поэтическом синтаксисе. Таково стихотворение о мальчике, соседе Ахматовой по ленинградской квартире, погибшем в блокаду.

Постучись кулачком - я открою.
Я тебе открывала всегда.
Я теперь за высокой горю,
За пустыней, за ветром и зноем,
Но тебя не предаю никогда...
Твоего я не слышала стога,
Хлеба ты у меня не просил.
Принеси же мне ветку клена
Или просто травинку зеленых,
Как ты прошлой весной приносил.
Принеси же мне горсточку чистой,
Нашей невской студенной воды,
И с головки твоей золотистой
Я кровавые смою следы

/1942, Ташкент/

Толковать и характеризовать это стихотворение не хватает духу.

Что я могу прибавить к этим замечаниям о немногих явившихся в моей памяти стихах Ахматовой, которые мне помогают восстановить для себя образ ее поэзии и ее живой человеческий образ, не отделимый от этих стихов?

Тема об Ахматовой, пишущей и читающей своим собеседникам стихи и говорящей о них, складывается во мне из множества разрозненных атомов, и я вряд ли сумел бы собрать их воедино. Скажу только, что Анна Андреевна охотно читала свои новые стихотворения ее посетителям. И - в ответ на просьбы ее гостей, и, часто, по собственному желанию и инициативе, не ожидая, чтобы ее просили и упрашивали. Я слышал в ее чтении много стихотворений, но чаще всего и наиболее последовательно, одно время почти ритуально, она читала мне из "Поэмы без героя". Она знала, что я увлечен этой поэмой и делилась со мною отдельными ее строфами по мере их возникновения.

Но, если не считать моих отношений с этой поэмой, я был все-таки недостаточно осведомлен в ее поздних стихах и скорее склонялся к хорошо знакомой и усвоенной мною ее ранней лирике. Она же сама при мне почти не вспоминала о своих первых сборниках и входящих в них стихотворениях, и моя привержен-

ность к ним, отвлекающая внимание от ее последней поэзии, видимо, не отвечала ее желанию. Она, как и большинство других поэтов, предпочитала свое "новое" своему "старому", отодвинутому временем.

Анна Андреевна принимала с видимым удовольствием выражение удивления и радости /а у экспансивных посетителей - восхищения/, вызванное ее стихами. Она относилась к мнению слушателей очень внимательно и, как показал мой опыт, хорошо и надолго запоминала отдельные оценочные замечания. При этом в тех очень редких случаях, когда мои суждения имели критический оттенок, она, в отличие от многих других поэтов, не испытывала или не обнаруживала досады. Бывало и так, что мои сомнения как будто отвечали ее собственным раздумьям и тогда на мои осторожные советы она кратко отвечала "подумаю" или что-нибудь в этом роде. Но иногда сомнения мои решительно отводились. Когда, например, прослушав в комаровской "будке" ее прекрасное стихотворение "Читатель", я позволил себе высказать сомнение по поводу введенного в его текст чужеродного английского термина /"Лайм-лайта холодное пламя"/, она решительно настаивала на его уместности и необходимости.

5

Но мой краткий рассказ об Ахматовой не закончен. Ахматова - великий поэт и человек большого масштаба. Но мы отклонились бы от правды, не отметив в ее прекрасном внутреннем облике некоторых человеческих слабостей, присутствие которых не мешает нам видеть ее во весь рост, во всей ее значительности и благородстве. Образ Ахматовой как человека не нуждается в "возвышающем обмане" и потерял бы частицу своей убедительности, если бы мы не взглянули на него любящими, но трезвыми глазами.

Ахматова еще в молодости пережила искушение, став предметом общего внимания к себе, вскоре превратившегося в славу.

Она сама признавалась, что была очень избалована. В первые десятилетия после революции, вместе со сменой людей, вкусов и культур, эта слава перестала быть громкой - надолго сосредоточилась в ограниченном кругу прежних почитателей Ахматовой. И все же ее забыли не все и не совсем. Пришел и ее час. Я был свидетелем ее триумфа на вечере памяти Блока в Большом драматическом театре /август 1946 года/, когда при ее появлении на сцене, все присутствующие в зале, стоя, приветствовали ее полными жара и восторга не смолкающими аплодисментами. Нечто подобное, говорят, произошло тогда и в Москве. Это была встреча с полузабытым и вновь обретенным поэтом и вместе с тем, - как это выяснилось позже, - прощанием с ним перед новой долгой разлукой. После этой вспышки тлеющей где-то впотьмах любви к Ахматовой, обстоятельства, как известно, еще больше отодвинули ее от литературы и читателей, она пережила свое второе молчание, много лет не печатала стихов и занималась исследованием Пушкина.

Можно думать, что связанные со всем эти причины - созерцание своей живой еще славы, сознание своей силы и своих возможностей и препятствия, стоящие на пути к их осуществлению и к ее признанию - и укрепили в Анне Ахматовой ее гордыню. Я не хочу называть эту гордыню *mania grandiosa*, но представляю себе, что это было обоснованное и понятное, и все же более, чем хотелось бы, подчеркнутое сознание своей значительности. Ум, такт Анны Андреевны, ее воспитанность приглушали и регулировали проявление этого сознания, но присутствие его в ее манере себя носить можно было заметить. Разговаривать с нею о литературе и о чем угодно, всегда было интересно и приятно, но нередко, как-то невольно, стихийно она направляла беседу от общего к частному, к темам, касающимся ее лично, - ее поэзии или ее жизни - и это было тоже интересно, но все же ограничивало горизонты общения, отнимало от него какую-то долю свободы и непринужденности.

Люди, стоявшие к Анне Андреевне ближе, чем я, рассказы-

вали, что гордыня доводила ее иногда /вероятно, не часто/ до капризов, проявлений несправедливости, почти жестокости. Я не был свидетелем таких эксцессов - Анна Андреевна, даже несогласие со мною выражала очень мягко, - но и я вполне отчетливо ощущал полускрытое шевеление в ней этой гордыни. Самоутверждение принимало у нее подчас наивные формы. Как-то, предлагая мне прочитать письмо к ней какого-то поклонника из Франции, она обратила мое внимание на фразу, в которой она названа grand poete' /ом/. И несмотря на то, что таких писем приходило к ней немало, она, читая их, не скрывала удовольствия и показывала их своим посетителям.

Да, она ловила знаки признания и почета. С видимой заинтересованностью /вполне естественной!/ она ждала присуждения ей нобелевской премии, которое сулили ей за рубежом /этой премии она, к сожалению, так и не получила/. Как хотела она, чтобы о ее поэзии писали статьи и исследования! И однако, можно быть уверенным, что все это было не столько проявлением славолюбия в прямом смысле, которое питается из своих собственных корней, независимо от обстоятельств, но имело и другие источники - понятное желание занять в литературе подобающее ей положение и потребность в самозащите, в обороне от того, что стесняло свободу ее творчества и лишало полноты общения с читателем.

Несколько иной характер носило ее слегка ревнивое, в чем-то похожее на соперничество отношение к тем наиболее выдающимся современным ей русским поэтам, с которыми обычно ее сопоставляли. Она отдавала им должное, вполне признавала их талант, их яркое своеобразие и значение, но вместе с тем в ее устных отзывах о них как о поэтах и людях иногда ощущалась какая-то привнесенная сдержанность и временами - перевес, обычно справедливых, но порою слишком заостренных критических замечаний.

По моим наблюдениям, Ахматова больше всех из современных ей поэтов одного поколения с нею ценила Мандельштама, своего

друга, во многом единомышленника, которого она признавала поэтом "одного направления" с нею /запись 17 мая 1941 г./ Она считала Мандельштама крупнее Пастернака /запись 23 июля 1959 г./. Критических замечаний о Мандельштаме я от нее никогда не слышал. Я убежден, что одной из причин, вызвавших такое отношение Ахматовой к Мандельштаму, помимо его духовной близости к ней и его реального масштаба, явилась и его трагическая судьба. Нужно сказать, что трагические перипетии и катастрофы в судьбах ее современников, вообще говоря, в высшей степени ее волновали и влияли на ее оценочные суждения. Помню, например, как прогуливаясь в полисаднике нашего дома на улице Ленина, она сказала мне, что плакала над стихами Елены Михайловны Тагер, - и было ясно, что горестная участь Елены Михайловны, между прочим, живущей в том же доме, сыграла в этом заметную роль.

Отношение ее к Блоку было сложным. В своих воспоминаниях Виктор Ефимович Ардов писал, что Ахматова "о Блоке говорит подчеркнуто уважительно, но не любит его"³. Я не думаю, что вторая половина этой фразы, слишком прямолинейная и упрощающая, справедлива, но поводы к ней в суждениях Анны Андреевны можно было найти. Высочайшим образом ценя Блока как поэта, она тем не менее предъявляла к нему самому и к его поэзии ряд претензий /об этом я расскажу особо/. Во всяком случае, какую-то долю напряженности, исходящей от Анны Андреевны в разговорах о Блоке я ощущал. Это заставило меня, кстати сказать, поверить одной из самых близких приятельниц Ахматовой, которая призналась мне, что уловила в ней оттенок недовольства тем, что я занимаюсь не ее поэзией, а творчеством Блока.

О дружеском общении Ахматовой с Пастернаком и о том, что она в полной мере представляла себе размеры его дарования хорошо известно. Отчасти - из скорбных стихов, посвященных ею памяти поэта. Но известны и ее критические оговорки по отношению к Пастернаку. Могу подтвердить, например, уже отмеченный мемуаристами ее отрицательный отзыв о его романе и о поэме "Спекторский". По ее мнению, Пастернаку роковым образом не

удавалось создавать образы персонажей, существующих вне его собственного сознания: он неизбежно превращал их в проекции своей личности. При этом Ахматовой представлялось, что и в жизни Пастернак был заморожен своим я и его сферой. Она считала, что Пастернак мало интересуется "чужим", в частности, ее поздней поэзией. /Она говорила об этом с некоторым раздражением - и до, и после смерти поэта/. Это было твердое и устойчивое ее мнение, в котором, с моей точки зрения, объективное, может быть, и преобладало над субъективным. Но однажды мне показалось, что такое соотношение критериев в словах Анны Андреевны о Пастернаке, вернее в их тоне, приобрело обратный порядок. Как-то вернувшись из Москвы вскоре после присуждения Пастернаку нобелевской премии и бурных событий в его жизни, Ахматова в своей обычной афористической форме резюмировала в разговоре со мною свои впечатления от встречи с поэтом: "знаменит, богат, красив". Все это соответствовало истине. Но истина в таком определении выглядела неполной, какой-то недобро сдвинутой. Чего-то очень важного для определения жизни Пастернака тех лет - жизни сложной и не такой уж благополучной - в этой формуле и в интонации, с которой она была произнесена, не хватало. Анна Андреевна могла бы найти тогда и другие слова о Пастернаке - она знала о нем все, что для этого требовалось. Но эти слова не прозвучали - их заслонила какая-то тень, которую порою можно было уловить в ее несомненном дружественном расположении к Пастернаку.

Но особенно заметно привкус чего-то подобного "литературной ревности" ощущался в отношении Ахматовой к Цветаевой. Ценила Цветаеву как поэта, Анна Андреевна не считала и не могла считать ее близкой себе по духу, по эстетике, по фактуре стиха. Духовно-эстетическая чужеродность этих двух замечательных поэтов едва ли не превращалась в противостояние. Как мне кажется, исконная причина этого, помимо глубинно-человеческих оснований, состоит отчасти в принадлежности их к различным "школам", сферам или даже поэтическим мирам, которые издавна дава-

ли о себе знать в широком потоке развития русской литературы - "петербургскому" и "московскому".

Вирусы того, что я условно называю "ревностью", ощущались скорее в интонации упоминаний Анны Андреевны о Цветаевой, чем в сути ее слов. Они присутствовали также и в повышенном интересе к оценкам поэзии Цветаевой, которые исходили от собеседников Ахматовой. Это было в большей мере веянье ревности, чем сама ревность. Вспоминаю отдельные реплики Анны Андреевны, относящиеся к этому "пункту" в общем вполне понятному.

Когда я попросил ее прочитать мне мандельштамовский отзыв об ее поэзии, о котором она только что упомянула, она как будто возразила на это:

- Но ведь вы больше любите Марину?! /Смысл: зачем же читать о ней, об Ахматовой? Д.М./.

Это было сказано с лукавством и с другими соседними более или менее различными чувствами. /Запись 15 февраля 1959 г./.

Запомнились и некоторые подробности из рассказа Анны Андреевны о двух единственных ее встречах с Цветаевой в предвоенной Москве. О содержании разговора, который вели между собой впервые увидевшие друг друга поэты, известно мало. Мы знаем, в основном, что этот разговор скорее развел их, чем сблизил. Не повторяя известного, прибавлю лишь несколько новых деталей, запомнившихся мне из рассказа Анны Андреевны.

- Марина - говорила Ахматова - была уже седая. От прежней привлекательности /хороший цвет лица/ в ней уже ничего не осталось. Она была *démodée* /"устаревшая" - это французское прилагательное несомненно было произнесено - Д.М./.. Она напоминала московских символистских дам 900-х годов. /Запись 15 августа 1959 г./.

Поскольку эта характеристика относилась не только к впечатлениям от внешности Цветаевой, но затрагивала и саму Марину Ивановну, мне показалась она несколько пристрастной. Мо-

жет быть, подумал я /простите за мой не совсем хороший домысел!/, на этот отзыв повлияло и то, что Цветаева не скрывает от Анны Андреевны, что не одобряет "Поэмы без героя" и ее стихов последних десятилетий /очень многого и важного из них она очевидно не знала/. Так или иначе, мне думается, что в ахматовскую оценку Цветаевой примешивалось здесь и в других ее замечаниях на эту тему, хоть и в малых дозах, то, что называли когда-то "человеческим, слишком человеческим".

6

Я говорю сейчас об этих легких облачных образованиях, набегавших в нашей памяти на прекрасный и величавый образ Ахматовой, чтобы быть до конца правдивым и не опуститься до излишнего во всех случаях, даже при полном бескорыстии побуждающих мотивов, лакированного стиля. Думая об этих в сущности незначительных штрихах /своего рода - "оживках" - не в иконописном смысле/ в портрете Анны Андреевны, я вспоминаю одно из писем Льва Толстого к Фету. Толстой, чтобы пояснить свои впечатления от чтения Гомера в подлиннике, сравнивает гомеровскую поэзию /излагаю вольно/ с прозрачной, ключевой, пронизанной солнцем водой, в которой плавают попавшие в нее каким-то путем соринки. И присутствие соринки, как бы посланных в прозрачную струю самой жизнью, придает этой свежей, сверкающей воде особенное очарование, пленяющую нас достоверность. Не вносит ли - подумал я - присутствие подобных "соринки" или, скорее, их тени в живой образ Ахматовой такую же достоверность, не освобождает ли его от выдуманного почитателями холодного олимпийского ореола? Вероятно, так и есть. Останавливать внимание на этих чертах в нашем переживании памяти Ахматовой я считал бы грехом, нарушением реальных пропорций света и тени. В итоге наших воспоминаний и мыслей эти легкие тени уходят за кулисы, как нечто полусуществующее, приставшее к большой истине. Прибавлю еще, что придавать им превосходя-

щее их самих значение не следует и потому, что в суждениях Ахматовой, о которых идет речь, субъективный взгляд не отрывался от объективного отражения сути вещей, и границы, отделяющие субъективное от объективного определить здесь очень трудно. Ясно одно: целостный образ Ахматовой остается благородным и прекрасным и в поэзии и в жизни.

При этом необходимо сказать, что очищение, к которому обращено с надеждой все живущее в мире, осуществляется в этом образе Ахматовой, в нашем представлении о ней, не только силами времени, обнажающего во всем преходящем меру заключенных в нем света и тени, но и ее собственной силой, прежде всего - силой ее поэзии. Несомненно, в поэзии она была справедливой, просветленной и окончательнее, чем в своих устных высказываниях. Именно в поэзии она умела подняться над второстепенным и сказать о главном. В поэзии она уходила из зоны "слишком человеческого" в тех случаях, когда оказывалась в ней, и оставалась перед лицом просто человеческого, Человеческого с большой буквы. Поэтому в своих "поминальных" стихах, относящихся к Маяковскому, которого она воспринимала, конечно, более, чем сложно, а также к Пастернаку и к Цветаевой, она сказала о них, отбросив все психологические и прочие обертоны, так, как они того заслуживали - голосом высокого утверждения и признания.

Я имею в виду стихотворения "Маяковский в 1913 году", о Пастернаке - "Памяти поэта", /о нем же в 1936 году - "Поэт"/, "Невидимка, двойник, пересмешник" /о Цветаевой/, "Комаровские наброски", "Какая есть. Желая вам другую" /в двух последних - упоминания о Цветаевой/. В этих стихотворениях говорится о "грозном" и "буйном" поэтическом строительстве Маяковского, о "вечном детстве", щедрости и зоркости поэзии Пастернака и о близости собственной судьбы Ахматовой с трагической участью "страдалицы Марины". Резюмирующей формулой этой главенствующей, внутренне санкционированной позиции Анны Андреевны можно признать первоначальный вариант заглавия стихотворения "Кома-

ровские наброски", стоящие в автографе - "Нас четверо". Выбирая такое заглавие, Ахматова имела в виду четырех больших поэтов: Мандельштама, Пастернака, Цветаеву и себя. Ставя этих поэтов под одно заглавие, она тем самым утверждала их высокое родство и достоинство.

В поэтическом творчестве Ахматовой можно найти и еще одну важную и характерную черту, связанную с тем, о чем только что говорилось. В ее стихах "О себе" присутствует скрытая мысль о самоочищении, критической самооценке, как бы вложенная в чужое наблюдающее сознание. Эту самооценку можно найти /и ее отчасти уже находили/ в ранних стихах Ахматовой и в ее позднем творчестве, например, в "Поэме без героя". Но я хочу напомнить и еще одно очень показательное свидетельство, указывающее на эту черту в поэтическом /и жизненном/ самопонимании Ахматовой - на "Песенку слепого" из ее несостоявшейся пьесы "Пролог" /40-е годы/:

Не бери сама себя за руку...
Не веди сама себя за реку...
На себя пальцем не показывай...
Про себя сказку не рассказывай...
Идешь, идешь - и споткнешься.

Не звучит ли в содержании этой с виду незатейливой "песенки", спетой каким-то мудрым слепцом /может быть, странником, "простым человеком", таким же как тверские "загорелые бабы" в давнем стихотворении Ахматовой/, не звучит ли в ней предостережение об опасности, заключающейся в той индивидуалистической стихии /"сказки" о своем я/, которую автор в себе и в своем творчестве несомненно ощущал? Иначе говоря, не признает ли автор "песенки" правоты слепца, в наставлениях которого кроются также и упреки? Ответ на этот вопрос представляется мне ясным. И здесь, в "Песенке слепого", и в стихотворениях "Ты знаешь, я томлюсь в неволе", "Не оттого ль, уйдя от легкости проклятой", и в "Поэме без героя" слышатся отзвуки совершающегося в каждом настоящем человеке и поэте

процесса самоочищения, развивающегося в нем морального катарсиса. Образ Ахматовой, лишенный этой черты, этого просветляющего начала был бы неполон.

Мое общение с Ахматовой было, несмотря на его длительность, растянутость в годах, все же ограниченным, и я не могу при всем желании, опираясь на наши беседы с нею, подробно охарактеризовать ее мнения, вкусы, ее литературные взгляды, привести их, насколько это можно, в систему. Отказываясь от такой обобщающей характеристики, я нахожу более правильным заменить ее воспоминаниями и некоторыми мыслями, касающимися двух избранных мною тем. В наших беседах с Ахматовой эти темы всплывали чаще других, и я записывал ее суждения, относящиеся к этим темам, не так редко, как в других случаях. Одна из них - "Ахматова о Блоке", другая - "Поэма без героя". Мои записи, примыкающие к этой, посвящены именно названным темам. Первая из этих записей в сокращенном варианте была опубликована в "Звезде", 1967, № 12. Другая, "Несколько слов о поэме без героя" печатается ...

Замечания

1. Анна Ахматова. "Стихотворения и поэмы", "Библиотека поэта". Большая серия. Ред. В.М. Жирмунского. Л., 1976, с. 197. Далее - ссылки на эти издания в тексте.
2. О матери и сыне. Не нам и не теперь судить об этой стороне биографии Анны Андреевны. Чаще всего она молчала об этом, но помню как, лежа в больнице на Васильевском острове, сказала мне с грустью: "А Лева не пришел ко мне и не прислал своей книги!" Прибавлю: она говорила о книге, только что вышедшей.
3. В. Ардов. Этюды и портреты. М., 1983, с. 60.